

Томас Роллингс

Приглашенный Ученый,

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Адрес: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, 21/4.

E-mail: tomrollings14@gmail.com

«Ученая саморепрезентация Чернышевского-студента в 1848 г.»

Ключевые слова: Чернышевский, саморепрезентация, ученый, религия, эгодокументы, практика

Данная статья проливает новый свет на студенческий дневник радикального мыслителя Николая Чернышевского (1828-1889) летом 1848 года. Она сравнивает религиозную ученую саморепрезентацию Чернышевского-студента с новой моделью ученого в лекциях Йохана Фихте и читает его студенческий дневник в связи с его ученой практикой. Данная статья таким образом надеется внести вклад в текущую переоценку Чернышевского, которая подвергает критике стереотип о нем как исключительно нигилиста.

Thomas Rollings

Invited Scholar, National Research University Higher School of Economics

Address: 105066, Moscow, Staraya Basmannaya st., 21/4.

E-mail: tomrollings14@gmail.com

The Scholarly self-representation of Chernyshevsky as a student in 1848

Key words: Chernyshevsky, self-representation, scholar, religion, egodocuments, practice

1. Пост-советское открытие религиозной ученой модели Чернышевского

Во время жаркой полемики после освобождения крестьян в 1861 году, радикальный публицист Николай Чернышевский (1828-1889) описал себя как журналиста в противовес узкой специализации академического ученого (VII, 764-5). Но в то же время он ссылался на его прежнюю ученую карьеру (VII, 765), тем самым давая знать об ученых фундаментах его публицистики. Настоящая статья ставит перед собой цель прояснить корни его ученой модели.

Канадский историк философии Чарльз Тайлор обсуждал случай мыслителей, которые выросли в одном интеллектуальном контексте, а стали известными при жизни в более позднем контексте (Тайлор: 1984). Будучи современниками авторы, читатели принимают как данность, что такой мыслитель разделяет их предположения и ожидания. Пример реперции Чернышевского нигилистами в 1860-ые годы после ареста Чернышевского в 1862 г. и его ссылки в Сибирь в 1864 г. иллюстрирует, что Тайлор имел в виду. В этом контексте многие молодые читатели воспринимали его тюремный роман «Что делать?» и его переопубликованную тогда магистерскую диссертацию «Эстетическое отношение искусства к действительности» (1855) как заявления о нигилистском мировоззрении. Подобные взгляды совершенно игнорировали его ученую саморепрезентацию в молодости, в том числе, когда он писал свою диссертацию в начале 1850-ых годов. Чтобы уходить от пропагандистской рецепции Чернышевского, данное исследование следует за советом Тайлора заниматься «творческим переписанием» мыслителя, с акцентом на его раннюю эволюцию.

Подход Тайлора подчеркивает значение свидетельства ранних эгодокументов мыслителя, написанных во время их становления. В случае с Чернышевским, речь пойдет о его студенческом дневнике, который он вел с июля 1848 по 1850 год. Критики уже комментировали этот текст, но в основном в связи с его становлением как писателем и литературным критиком, как Владимир Набоков сделал в своей последней русско-язычном романе «Дар» (Паперно: 1988). Однако, намного меньше внимание было обращено на его ученый бэкграунд. Одним важным исключением стало неоконченное исследование Густава Шпета «Источники Диссертации Чернышевского» (1929), которое переиздавалось в последние годы (Шпет: 2009). Контекст работы в 1929 году важен. Он писал полемику против попыток обосновать советский

материалистический канон в русской философии на авторитете Чернышевского, который в свою очередь якобы следовал за материализмом Людвиг Фейербаха. Шпет отметил, что Чернышевский отличался от Фейербаха, который сам не разрушил религию.¹

В уточнении позиции Шпета, Владимир Кантор недавно отметил, что Шпет был прав в своем чтении Фейербаха, но ошибся в предположении, что Чернышевский разрушил религию. Кантор неслучайно добавил, что Шпет не идентифицировал, откуда появилась мысль Чернышевского (Кантор: 2016, 161-162). Главный авторитет по истокам его мысли был саратовский ученый А.А. Демченко, чья ученая биография Чернышевского была переиздана в 2015 году. Демченко именно «творчески переописал» тот мир, в котором он вырос в семье саратовского протоиерея.² В частности, особое внимание было выделено ученой модели Гаврилы Чернышевского на основе первоисточников, включая тетради, семинарские сочинения и письма молодого Николая.³ Демченко также цитировал важные письма Чернышевского по дороге и затем по прибытию в Санкт-Петербург, в которых он выражал его саморепрезентацию как ученого, который осуществляет духовную миссию в науке. И. Демченко исследовал его студенческие годы на основе материалов его дневника в главах 10-15 по следующим темам: его первый год, его самый близкий друг Василий Лободовский, его литературные опыты, революционные годы (1848-9), его участие в литературном кружке И.И. Введенского и, в конце, его последний учебный год (Демченко: 2015, 128-216). Однако, как видно, нет главы, посвященной ученой практике Чернышевского.

Данная статья восполнит эту лауну. В первой части она изучает критерии, в рамках которых можно оценить Чернышевского как молодого ученого. Из-за слабости тогдашней российской науки, о которой сам Чернышевский писал (Демченко: 2015, 138), единственный источник ученой модели имел европейские корни. Поэтому эта статья применяет каноническую

¹ Примечательно частичное сходство с позицией Тайлора. Чтобы наводить мысль на неадекватность уровня мысли Чернышевского в противовес нигилистских похвалов, Шпет ссылаясь на критику против него в 1850-ые годы, после первой публикации его диссертации. Однако, Шпет дальше утвердил, что Чернышевский уже во многом артикулировал нигилистский анализ еще в 1850-ые гг (Шпет: 2009, 362).

² Нслучайно, Демченко отметил, что «Наиболее сильным союзником в противодействии хвалителям и хулителям Чернышевского выступает сам Чернышевский» (Демченко: 2015, 9).

³ См главы три, пять, шесть и восемь «Семейное образование», «Духовное училище», «В семинарии» и «Преподаватель Г.С. Саблуков» (Демченко: 2015, 34-47, 60-72, 72-100, 107-116).

модель Йохана Фихте к примеру Чернышевского в цикле лекций «О сущности ученого и ее явлениях в области свободы» (Фихте: 2008).⁴ Затем она отталкивается от новых подходов в области изучения автобиографии на Западе, чтобы рассматривать ведение его дневника как практику (Янке и Ульбрих: 2015), которая была связана с его ученой практикой.

2. Историческая контекстуализация ученой модели Фихте

Похоже, что настоящая статья является первой попыткой ввести в научный оборот сравнительный подход к Фихте в связи с Чернышевским. Такой ход потенциально приведет к возражению, что лучше отнести Фихте к тем аристократам, которые читали его в России, как уже сделала Лидия Гинзбург (Гинзбург: 1977). Однако, рамки здесь состоят в религиозной авто-концепции ученого, которая была центральной темой в лекциях Фихте и в студенческих эгодокументах Чернышевского. Другое дело – рецепция Фихте у русских аристократов как Бакунина, который не имел серьезного намерения стать профессиональным ученым. Более того, обоснованность сравнения даже не зависит от того, читал ли в юности Чернышевский Фихте, а от того, был ли он на самом деле молодой ученый, который выражал свое религиозное мировоззрение в своей деятельности. И здесь, позиция Фихте важна в качестве источника критериев.

Итак, первая лекция (с. 320-328) уже проливает свет на утверждение Шпета, что Чернышевский не был ученым потому, что он был журналистом, при чем политически ангажированным (Шпет: 2009, 390-401). Кажется, что Шпет исходил из еще широко распространенного представления об ученом, как о человеке, который сидит в архивах, дает лекции и ходит на конференции. Фихте наоборот описывал правителей, которые отталкивались в своей политике от просвещенного ученого взгляда, как зрелых ученых. К их числу он добавил еще преподавателей, журналистов и авторов, и также университетских ученых. Об этих категориях он говорил потом отдельно в заключительных лекциях. В целях сравнения с молодым Чернышевским, который соответствовал описанию Фихте «становящегося ученого», акцент будет сделан на лекции 2-6, где Фихте говорил именно о становлении ученого.

⁴ В дальнейшем ссылки на страницы из этого издания будут сделаны в основном тексте в скобках.

Во второй лекции «О божественной идее» (с. 328-337) Фихте разъяснил основу платоновской философии в своем современном тогда истолковании. Задача ученого – постичь той самой божественной идеи и передавать ее своим современникам. Данный анализ выясняет связь между религиозным мировоззрением и практикой ученого, которая может не казаться очевидной ученым сегодня. Ведь, Шпет был ученым, но не религиозным, в то время, что можно быть религиозным и не ученым. Стоит отдельно отметить, что Чернышевский в своем дневнике не прояснил данную связь на своем собственном примере. Поэтому систематичность позиции Фихте может объяснить аспекты свидетельства о себе в дневнике Чернышевского, которые иначе казались бы странными и не связанными с его бытовым опытом, например его слова, что он считал себя «божим сосудом» (I, 38).

В частности, Фихте подробно говорил о том, как божественная идея подкрепляла педагогическую практику в третьей лекции «О подготовке ученого вообще: в особенности о таланте и прилежании» (с. 337-345). После того, как он описал гений как «влечение к неясно познаваемой духовности» (с. 338), он утверждал, что ученому нужны «постоянное прилежание и непрерывное исследование» (с. 339), чтобы реализовать свой гений. Ставка явно сделана на упорный труд, который ученый должен проделать, чтобы стать зрелым и способным преобразовывать мир в соответствии с божественной идеей. ИмPLICITно Фихте имел в виду ученых не из аристократических кругов, которые были ленивые и не способны к труду.

Сверх того, он считал, что религиозная вера была необходимой для труда становящегося ученого. Ведь, из-за длительного периода предварительной подготовки существовал риск, что ученый мог сойти с выбранного пути. В ответ на этот риск Фихте говорил о призвании ученого в четвертой лекции «О честности в учении» (с. 345-351). Там он приравнивал честность к вере: только при условии, что он честный, учёный будет считать, что «воля Бога велит ему стать ученым» (347) и относиться к своей ученой подготовке как следует. Как и в фразе Чернышевского о том, что он считал себя «божим сосудом», в таком именно духе он написал о себе, как об «орудии бога» (I, 127). Его бэкграунд в семье протоиерея таким образом приближал его к модели Фихте, в то время, как позиция Фихте проливает новый свет на значение понятие «честность» у Чернышевского (см. Демченко, 2015: 5).

Путь ученого становился более сложным в пятой лекции «Как проявляется честность в учении» (с. 351-359). Здесь Фихте предупреждал, что ученый мог также соскользнуть с выбранного пути вследствие внутренних перемен. Именно другими, эзопскими словами Фихте таким образом говорил о пубертатном периоде. Исходя из того, что «у всякого возраста жизни – свое предназначение» он хвалил «удел юности – искренная ненависть к пошлomu» и сурово отметил последующие «тайные пороки духа» (с. 356-7). Поскольку Фихте здесь говорил об общих проблемах, присущих каждому человеку, они относятся и к Чернышевскому. О том, как Чернышевский писал о своем подростковом опыте в своем дневнике, речь пойдет ниже после завершения разбора позиции Фихте.

Фихте приветствовал просвещенную, гуманную педагогическую модель в шестой лекции «Об академической свободе» (с. 359-367). Он подчеркнул уникальность ученого на основе того, что его «случая доселе еще не бывало» (с. 363). Можно определить этот тезис в росте капиталистической экономики в Европе с конца XVIII века, который дал толчок к развитию механических наук и возникновению новых ученых областей, например политической экономии (Тайлор: 1989, 285-6). Ведь, это было время, когда феодальная модель ученой жизни, при которой запас знаний был ограничен, окончательно устарела (Зарецкий, 2015). Именно поэтому Фихте поддерживал усилия братьев Гумбольдтов в деле слияния Прусской Академии наук и Берлинского Университета, чтобы совмещать преподавание и новые исследования в Свободном Университете Берлина (Аврус: 2001, 14).

Однако, хотя Фихте действительно внес свой вклад в дискуссии о критерием новизны в опубликованных ученых работах, его лекции были сфокусированы на фигуре самого ученого. В этой связи, он заявил, что ученый «несет в себе, в божественной идее, образ будущих эпох, которые еще только должны наступить и должен указать пример и дать закон другим поколениям, закон, который он тщетно стал бы искать в настоящем или в прошедшем» (с. 363). Речь здесь не о механических законах или закономерностях в политической экономии. Наоборот, говоря о законах, которые меняются от поколения к поколению, Фихте имел в виду этику и юриспруденцию. На самом деле, он представлял ученую жизнь и жизнь ученого в качестве инструмента

для мобилизации национального движения, поскольку политические институты в тогдашней Германии были слабы в период наполеонских войн.

Посыл об оригинальности в шестой лекции совпадает с мыслью в третьей лекции о том, что ученый, благодаря своему упорному труду, станет способным передавать божественную идею более широкому кругу читателей: «та точка, где ученый превращается в свободного художника, есть точка совершенства ученого» (с. 341). Поэтому поклонники романтизма интерпретировали эти слова Фихте в изображении ученого как жреца или романтического поэта (Маколай: 1908, 146-147). Однако, хотя Фридрих Шлегель ссылаясь на юного Фихте в качестве источника нового романтического настроения в начале 1790-ых годов, Фихте не употребил слово «романтизм» в своих лекциях об ученом. Более того, он даже специально посоветовал своим студентам обращаться к классической литературе, не современной романтической поэзии.

Правда, установка на выделение этапов развития человека с детства вполне вписывалась в схему Билдунгсромана о становлении героя через свои собственные усилия. Но не стоит применить узкую литературно-центричную линзу к позиции Фихте. Ведь, Фихте не писал литературный текст, а ученый текст. Его слова об уникальности ученого не выражали веру в универсальных, внеисторических качествах человека, а ссылались на контекст своего времени.

Поэтому здесь есть параллель с корпусом автобиографических текстов начала XIX века. Кроме литературного жанра мемуаров, к которому действительно можно применить литературную линзу, есть и еще более широкий круг эгодокументов, которым также была присуща установка на выделение этапов развития человека с детства. Ученые поэтому изучают эгодокументы прошлого в связи с новым чувством времени, которое развивалось в континентальной Европе с конца XVIII века и давало Фихте представление о том, что настоящее отличается от прошлого. В частности, открытие детства, которое также имеет отношение к Билдунгсроману, дало толчок к новым практикам педагогики, включая к ведению дневника детьми с целью само-организации (Баггерман и Деккер: 2014). С другой стороны, в дальнейшем дети выросли в подростков и переживали кризис идентичности. Поэтому многие подростки обращались к ведению дневника в целях самоопределения (Лежен: 2009, 29-48).

Отмечанные работы в области изучения автобиографии можно сгруппировать под рубриком «historicising the self», то есть историческое описание выражения субъекта.⁵ По сути, данное исследование применяет такой подход в изучении Фихте, чтобы лучше понять его модель ученого. Ведь, его практика преподавания влияла на его авто-концепцию, как зрелого ученого, и на то, как он ретроспективно вспоминал свои ранние годы, когда он был «становящимся ученым». Не случайно, ученые также говорили о связи между новым чувством времени и субъектности в те годы и развитие немецкого идеализма (Вейнтрауб: 1975), но Фихте не говорил односторонне о трансцендентальной божественной идее, а говорил о ней в связи с практикой. Из-за того, что в будущем задачи будут другие, Фихте подчеркнул, что ученый должен с раннего возраста не следовать внешним правилам. Поэтому ему нужны «тонкий такт целесообразности и высокая нравственность» и, следовательно «его весьма рано следовало бы поставить в такие условия, когда ему было бы возможно и необходимо приобрести этот такт» (с. 365). И потом, уже в студенческие годы, у студента должна быть свобода, чтобы тестировать и совершенствовать свой такт. Поэтому он назвал шестую лекцию «Об академической свободе».

В итоге, можно сказать, что в дополнении к работе А.А. Демченко сравнение с моделью Фихта усиливает представление об ученом бэкграунде Чернышевского как в связи с педагогической моделью своего отца, так и в связи с его студенческими годами в Петербурге, где он как раз выработал необходимый такт. В таком виде Чернышевский представляется совершенно иначе, нежели в работах, которые изучают его через литературно-центричную линзу в связи с нигилизмом (Паперно: 1988; Ключкин: 2009). В частности, в критике подобных взглядов, данная статья собиралась акцентировать внимание на именно подростковый характер его дневника. Ее первоначальный тезис сводился к тому, что если «тайные пороки» взяли вверх в студенческие годы, то Чернышевский мог успеть уйти от таких нигилистских переживаний впоследствии, как между прочим Владимир Кантор и предлагает (Кантор: 2016, 87-116). Однако, с учетом позиции Фихте, можно уточнить данный тезис. От того, что молодые ученые переживают кризис идентичности, не следует, что

⁵ См. статьи Бурк, Лежен и Баггерман в сборнике серии «Эгодокументы в Истории» (Баггерман и Деккер: 2011).

они все сбиваются с выбранного пути. И оказывается, что Чернышевский, будучи студентом, остался верным своему призванию, что видно в его ученой саморепрезентации тогда. Поэтому не стоит разбивать его дневник на две части – ученого и подростка соответственно. Ведь, молодой ученый априори подросток. Поскольку Демченко и Кантор по сути уже очертили такой анализ, ниже внимание будет обращено на его ученую практику, которая наглядным образом подтверждает его ученую саморепрезентацию.

Ученая практика Чернышевского в июле 1848 года

Несмотря на то, что Демченко не специально изучал ученую практику Чернышевского, он описал положительную оценку студента в адрес своего профессора славянской филологии, Измайла Ивановича Срезневского, и упомянул о его трудоемкой работе по составлению лексикона *«Ипатьевской летописи»* под руководством Срезневского, издан Срезневским в 1852 г. (Демченко: 2015, 135). Тем не менее, одним указанием на результаты научных исследований Чернышевского не обойтись, чтобы ответить на довод Шпета, что Чернышевский не был ученым потому, что в том числе он не выиграл студенческую медаль.

Ссылаясь на дневниковое свидетельство Чернышевского в ходе ответа на Шпета, необходимо учесть решение автора обратиться к ведению дневника летом 1848 года. Раньше он не писал дневник, что напоминает о словах Фихте против самонаблюдения, так как «у того, кого беспокойно влечет идея, не остается времени подумать о себе самом» (с. 342).⁶ Однако, с самого начала Чернышевский показывал похвальную дисциплину, наверное от того, что под руководством отца он писал время и дату его занятий в детстве (Демченко: 2016, 62), тем самым выполняя задачу дневника в качестве отчета времени. В любом случае, его ранние записи показывают дисциплину и отсутствие самоанализа.

Первая запись начинается с даты и времени «12 июля 1848, 2 часа ночи» (I, 38) и рассказала о событиях уже прошедшего дня, т.е. 11 июля: «Встал, стал до чая разрезывать летопись Нестора (завещание Мономаха), дорезал» (там же).

⁶ Фихте предупреждал студентам не задавать себе вопрос, имеют ли они гений потому, что «истина не обнаружится, но юноша только приучится к тому самолюбванию и себялюбивому на самом себе сосредоточению, которые всегда надолго и в корне портят любого человека и морально, и интеллектуально» (с. 343).

Он не сообщил, почему он начал свой дневник, и не писал о том, что наступающий день был его днем рождения – ему стало 20 лет в этот день. Хотя символизм рождения мог бы стать фактором в выборе первого дня его дневника, катализатор для ведения дневника необходимо искать в его обычной бытовой рутине.

В этой связи, одним важным сдвигом была его работа над «Нестором», которую он в это время начинал делать. Он не объяснил, почему он так работал. Зато он фиксировал его часы работы и прогресс. Видимо его продуктивность была важным моментом для него. Например, он работал семь, восемь и шесть часов 13-15 июля (I, 39, 42, 45). Когда он только работал четыре часа 17 июля, он сообщил «день, пропавший совершенно» (I, 47). В описании таких подробностей Чернышевский подчеркнул свой профессионализм в соответствии с новым отношением к времени в эгодокументах в Европе того времени. Вот пример тому, как призыв Фихте к последовательной работе шел рука об руку с практикой ведения дневника.

Во втором абзаце первой записи он бегло отметил оппозицию своих сокурсников к его тесным отношениям с профессором Срезневским. В ответ, он сказал им, что он решил не «писать Срезневскому» и вообще никогда не собирался этого сделать. Поэтому возникает вопрос: что из себя представляла та работа, которую он делал дома? Только через неделю он написал, что это один и тот же проект. Он сделал это признание как будто между строк, в записи диалога с его двоюродной сестрой Любинькой, с которой он тогда жил в Петербурге. Когда она спросила, почему он так усердно работал, он записал их разговор следующим образом: «я отвечал: «Сам теперь не знаю хорошенько; раньше для медали, а теперь не могу писать для неё». – «Почему не можешь?» – Я сказал пустяки». Соответственно, Чернышевский наврал своим сокурсникам, когда он сказал, что не имел твердого намерения принимать участие в конкурсе (в их языке «писать Срезневскому»). И он наврал Любиньке, сказав, что не знал, почему он передумал.

Если Чернышевский бросил идею писать для медали, то почему он продолжал работать над лексиконом? Ведь, эта работа требовала большего количества времени и сил. Для начала, ему надо было переписать весь текст. Затем, когда он нарезал слова, ему надо было отмечать номер страниц и строка. Тогда он положил на пол все слова, которые начинались с определенной буквы,

и собирал их по порядку, отмечая каждый новый контекст, в котором каждое слово появлялось. Так, 13 июля он разбирал слова, которые начинались с буквы «в», т.е. «Ва, вб и т.д.» (I, 39). На другой день он закончил «в» и начал «г» (I, 42) и 15 июля он дошел до «до» (I, 45). Объем работы был настолько велик, что ему нужна была внутренняя причина. Лучше, чем слова, его труд сам по себе соответствовал критериям Фихте в оценке, есть ли у человека ученое призвание.

В то время, его работа стала переплетаться с другими аспектами его ежедневной жизни. Так, когда он вернулся домой 11 июля и группировал слова «а» и «б» он разговаривал с Любинькой о ее ослабленном здоровье и думал о своем друге Василие Лободовском, который недавно поженился. В момент отдыха он читал новости о Франции и записал его оценку труда по теме «Теория финансов» как «небрежно составленная книга» (I, 39). Он также описал свои собственные финансы с той же аккуратностью.⁷ После того, как 15 июля он слушал Лободовского (тоже сына священника) о семье Нади, его молодой жены, Чернышевский сделал вывод, что «чем больше понимаю, тем больше высоко ценю папеньку и тем более замечаю в себе сходства с ним. Боже сохрани его!» (I, 45). Такое теплое упоминание о своем отце выражалось в одобрении его модели педагогики и Чернышевский-младший воспроизвел модель гуманного священника-отца в его отношениях с Надей. Совместно с Лободовским, он призывал ее читать и отметил с радостью, что она читала Лермонтова и роман «Том Джонс» (I, 39).

Вслед за его разговором о лексиконе с Любинькой 20 июля, он написал о том, как на улице, сравнивал женщин, которых он видел, с Надей. Его анализ результатов скрытых наблюдений передал, как он интерпретировал свой новый, подростковый опыт в рамках его ранних, детских, идеальных рамок: «чувство было чистое, как от хорошей книги или разговора с умным человеком» (I, 49). Именно в том, как он описал женщин через призму книг, он намекал на то, что ему надо было что-то иное, чем книги. Складывается ощущение, что он имплицитно признал, что его вспомогательная роль в образовании Нади не удовлетворила его. Ведь, он добавил, что с утра в тот день, пока он оставался еще дома и собирал слова «н», он размышлял:

⁷ Ирина Паперно внимательно проследила освещение финансов Чернышевским в своем дневнике в связи с тем, что он помогал Лободовским материально. Поскольку она не учла его религиозное мировоззрение, она однобоко рассматривала его аккуратность и отчетность как признак его позитивизма уже в студенческие годы (Паперно: 1988, 41-48).

Не буду ли после недоволен папенькой и маменькой за то, что воспитался в пеленках, так что я не жил, как другие, не любил до сих пор, не кутил никогда; что не испытал, не знаю жизнь, не знаю и людей и кроме этого через это само развитие приняло, может быть, ложный ход (I, 49-50).

Важно, что автор не пишет от первого лица, что «я не так вырос», а очень неуклюжо писал «само развитие приняло». Из-за сравнения с Надей, кажется, что сомнения в модели отца вызваны именно пока еще непризнанным влечением автора к ней. Однако, тогда не понятно, почему совсем недавно до этого он так лестно отзывался о своем отце. Поэтому представляется важным наблюдение А.А. Демченко о том, что он мог писать данный пассаж после того, как он наслушался рассказов Лободовского об его интимной жизни в прошлом, то есть вовсе не в связи с Надей (Демченко: 2015, 154). В любом случае, в этих эмоциях он писал как подросток.

Несмотря на свой кризис идентичности, Чернышевский продолжал усердно трудиться. Отталкиваясь от своих внутренних стандартов и логики самого исследования, он стал понимать масштаб работы в подготовке лексиконов: «мелькнула мысль и утвердилось, что может быть времени на словарь будет нужно слишком много ... Так может быть, только к окончанию курса явлюсь я с ней, но в более обширном виде, чем думал: весь Нестор, Лаврентьевская летопись, может быть, и все другие древние и замечательные по языку» (I, 56). Его амбиции настолько далеко зашли, что студенческая медаль для него была не очень значима.

Он также выражал его ученую саморепрезентацию в записях, в которых он передал разговоры о просвещении в евангельском духе. Так, в беседе с Иваном Терсинским, мужем Любиньки, он сказал об английском поэте Байроне «это те, о которых говорится – вы есть соль земли» в ссылке на Евангелие (Матфей, 5: 13). Терсинский обидел Чернышевского своим ответом, что Байрон был «фигляром». На другой день в мрачном настроении Чернышевский подчеркнул верность его детским идеалам, сообщая, что «я совершенно тот же, как мальчиком был» когда он плакал из-за того, что люди не уважали духовный пример богатырей. Он повторил его ответ Терсинскому, что «они наши

спасители, эти писатели как Лермонтов и Гоголь» и подытожил, что мысли о просвещении имели обратное действие на него самого, потому, что «это больно, как богохульство, осквернение того, что есть возвышенного в жизни и деятельности человека, и больно видеть близ себя такого человека» (I, 58). Свидетельство Чернышевского наглядным образом напоминает заявление Фихте о том, что « постижение своего предназначения как божественной мысли делает для учащегося собственную его личность святой и почтенной» и что, соответственно, « он избегает соприкосновения с пошлым и неблагородным» (с. 355).

30 июля он направил его дискуссию о спасителях, которые есть «соль земли», к примеру современных утопических социалистов. Поводом к подобным размышлениями послужило то, что он улыбнулся, когда он читал фельетон против Прудона. Он подверг себя самокритике потому, что «я не люблю и не хочу никогда смеяться над нововводителями» (I, 60). В последующей записи от 23 сентября, он признал, как он в детстве считал себя изобретателем вечного двигателя и тогда «я считал себя одним из величайших орудий бога для сотворения блага человечеству» (I, 127). Вот контекст, в котором он говорил о себе в соответствии с позицией Фихте об ученой честности. Выходит, что Чернышевский бросил его утопическую детскую идею о своей машине, и переключился к утопическому социализму в попытке решить проблему нищеты. Но его социализм не означал атеизм, а был лишь мостом для возрождения новой духовной жизни. В таком ключе он писал о его тогдашних социалистических героях, о Прудоне и главным образом о Луи Блан:

В сущности я верю, что будет время, когда будут жить по Луи Блану: *chacun produit selon ses facultés et reçoit selon ses besoins* – это необходимо должно быть, когда производство увеличится и собственности не будет в строгом смысле, потому что у каждого всега будет все, что ему захочется (I, 61).

Таким образом, он думал об утопических социалистах в качестве «божских сосудов», которые были моделями «спасателей» и «нововводителей» для него.

Чернышевский впервые попытался соединить вместе нити его дневникового нарратива 1-2 августа. Самый подробный раздел был посвящен

«Моим Отношениям», что на деле означал Надю. Он начал с того, что «блеснула мысль, что она не так хороша собой, как раньше я воображал» и что его «чувство преданности и глубокого благоговения, которое я раньше питал к ней, может быть, ослабевает во мне» (I, 63). Он приписал эту перемену к тому, что «я всегда принимаю людей с первого раза слишком к душе и ставлю их слишком высоко, а потом приходится их сводить с пьедестала, на который сам возводил их» (I, 63-4). Если раньше он засомневался в педагогической модели отца, то он намекал, что его идеализация Нади сама по себе была продуктом приверженности идеалу, которую он унаследовал от своего отца.

В то время, как Надя пала в его оценке, он писал о своем отце, что:

все более и более ценю его: христианская кротость, смирение, непамятозлобие, много того, что у Альворти в «Томе Джонсе» – непоколебимое благородство: я более и более сознаю сходство между им и мной в хорошие моменты моей жизни или во всяком случае между тем, что я сам считаю за хорошее в человеке (I, 64).

Здесь он ясно сообщил, что его отец символизировал в его дневнике Христианство и, сверх того, что он идентифицировал себя со своим отцом и, соответственно, с Христианством. Однако, если раньше его временная фрустрация в связи с отцом говорила лишь о преемственности с отцовским примером, то признание близости с отцом на самом деле означало, что он уходил от него, хотя скромными, мелкими шагами. Не разрушая фундамент его основополагающего религиозного мировоззрения, Чернышевский уже со своей отдельной точкой зрения стал понимать значение его отца для него.

Утверждение о том, что в то же время, как Чернышевский хвалил своего отца, он стал более самостоятельно мыслить, находит подтверждение в заключении в конце записи:

Теперь о себе – О своей будущности думаю мало, как-то беспечен. Составляю словарь, иногда подумываю, что место и возможности жить получу через Академию за это, иногда что через Срезневского, иногда что через Никитенку, с которым сближаюсь на педагогических лекциях (I, 65).

Его отец хотел, чтобы он служил, а он сам хотел стать ученым. Практика ведения дневника поддерживала его ученую саморепрезентацию тем, что она укрепляла пока еще не совсем конкретные мысли о своем будущем пути.

На следующий день, в продолжении разбора своей ситуации, он перешел к описанию своих «понятий», начиная с раздела «Богословие и христианство». По сравнению с его клерикальным домом, он сообщил о своей петербургской жизни, где религия «чрезвычайно мало действует на жизнь и ум» и добавил, что «занимает мысль, что должно всем этим заниматься хорошенько. Тревоги нет. Блеснула мысль: «без религии нет общества», говорит Платон и мы за ним» (I, 66). Опять же он явным образом не писал от первого лица. Его тон напоминает анкетные ответы. Он не исповедовал свою веру, и тем более не намекал на некое предстоящее обращение в атеизм. Наоборот, он лишь бегло записал мысли, к которым он собирался вернуться, как ученый, может быть даже юный богослов. Он остался верующим, о чем он писал прямо в следующем месяце (I, 132), но привыкал к тому, что его идентичность отличалась от идентичности его отца, человека церкви, который профессионально проповедовал веру.

Он продолжал в таком беглом тоне «История – вера в прогресс; Политика – уважение к Западу, и убеждение что мы никак не идем в сравнение с ними, они мужи – мы дети» (I, 66). Опять же, его уважение к Западу вытекало из его тогдашнего убеждения, что он предлагал новые идеи. Поэтому он подытожил, что «кажется, я принадлежу к крайней партии» (I, 66). В заключении, он впервые перешел к теме о его сексуальных влечениях, которые он пока еще отнюдь не контролировал, и резюмировал: «кажется, усиление стремления полюбить женщину, т.е. девушку, но любовью чистой, платонической, смешной, но цель которой жениться на ней» (I, 67). Вот еще пример его анкетного стиля, в этот раз после слова-маркера «кажется» а не «блеснула мысль», как и в случаях с мыслями о Наде и религии. Чернышевский дал волю платоническим мыслям о Наде в качестве ориентира в деле поиска жены, в противовес деструктивным страстям.

Поэтому когда он в конце августа перестал работать над лексиконом, причина не лежала в победе страсти над идеалом, а в отсутствии времени. Просто стало нереально закончить работу до начала нового семестра. В январе 1849 года его сокурсник Николай Корелкин выиграл золотую медаль за свое

сочинение о языке «Завещания Мономаха», которую в других условиях Чернышевский скорее всего получил бы. В связи с успехом Корелкина, А.А. Демченко ссылался на мемуарное свидетельство, которое утверждало, что Чернышевский не принимал участие в конкурсе, чтобы дать своему сокурснику лавры (Демченко, 2015: 144-145). Наоборот, данное исследование предлагает альтернативную версию его намерений. Он не хотел помочь Корелкину, но улучшить его отношения с другими сокурсниками. Исходя из отношения Чернышевского ко времени в соответствии с подходом ученых в области изучения автобиографии, оно показало ту работу, на которую он тратил свое время, которую исследователи упустили из виду из-за отсутствия ясного дневникового нарратива летом 1848 года.

Может показаться, что приведенный анализ все-таки не говорит об учености Чернышевского, поскольку в августе он бросил свой лексикон. Однако, через год по предложению Срезневского, с которым у Чернышевского остались отличные отношения, он стал составлять лексикон к *Ипатьевской летописи*, которую в этот раз он делал до конца. В связи с этой работой, Шпет сделал вывод, что специализация Чернышевского была в области филологии, а не в эстетике, хотя он писал диссертацию именно об этом предмете (Шпет: 2009, 373). Здесь стоит отметить тезис Владимира Кантора, что ключ к диссертации Чернышевского есть «евангельская тема жизни» (Кантор: 2016, 163). Вот и связь с его работой в области филологии: ведь, летописи как раз и передали божественное слово в Руси. Поэтому тщательное чтение летописей вполне могло бы сформировать взгляд Чернышевского на эстетику. Если так, то данное исследование подтверждает тезис Кантора и, более того, указывает на религиозный характер учености Чернышевского.

Заключение

В полемике против взгляда на Чернышевского, как на неученого нигилиста данная статья изучала материал его ранних дневниковых записей в параллельном чтении лекций Фихте о призвании ученого. Подобный подход подчеркивает религиозный характер модели ученого у обеих мыслителей и также позволил применить к дневнику Чернышевского опыт изучения эгодокументов на Западе в связи с новым ощущением времени. В итоге, удалось показать, что Чернышевский был вовлечен в важных исследованиях, и имел все

права ссылаться на пример братьев Гумбольдтов в Берлине (I, 128), где они сотрудничали с Фихтом.

Конечно, много тем остались вне поля зрения в данном исследовании. В частности, рефлексии Чернышевского над своей интимной жизнью требуют отдельного изучения в связи с его ранними литературными опытами. На данный момент ученые еще склонны изучать именно корни нигилизма в его ранних литературных опытах (Ключкин: 2009). Однако, настоящее исследование уже дает материал для свежего взгляда на его творчество, что вытекает из того, что Чернышевский хотел писать именно рассказы в педагогических целях – вполне в рамках его ученой саморепрезентации.⁸ Более того, именно в литературном творчестве он еще больше приближался к анализу Фихте о художественном таланте ученого и о развитии такта путем свободной рефлексии над своими ошибками.

Несмотря на быструю эволюцию в интеллектуальной истории после 1800, можно наблюдать определенную корреспонденцию в позициях Фихте в 1805 году и Чернышевского в 1848 году из-за их общего религиозного и ученого мировоззрения. Данное утверждение ставит под сомнение традиционные оценки Фихте-романтика и о Чернышевского-нигилиста. Возможно, в его критике «Фихте-сыновей» в статье «Антропологический принцип в философии» (1860) Чернышевский подверг критике именно русских аристократических читателей Фихте, а не самого Фихте (V, 225-6). В таком случае, сравнительный подход поможет также контекстуализировать и последующую эволюцию Чернышевского.

Библиография

Источники

1. N.G. Chernyshevsky, Collected Works, in 16 volumes, Moscow, 1939-1953.
Чернышевский, Н.Г. Собрание сочинений в 16-и тт., Москва, 1939-1953.

⁸ См. запись от 16 января, 1849, I, 222-3, (Демченко: 2015, 164).

2. Фихте, Йоган. О сущности ученого в области свободы. Публичные лекции, читанные в Эрлангене в летний семестр 1805 г. Йоган Фихте // И.Г. Фихте. Сочинения, Санкт-Петербург «Наука», 2008.

Русско-язычные Исследования

3. Аврус, А.И. История российских университетов. Очерки. М., 2001
4. Гинзбург, Лидия. О психологической прозе. (второе издание) Л., 1977.
5. Демченко, А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1828-1853), (Humanitas: Москва и Санкт Петербург, 2015)
6. Зарецкий, Ю.П. Можно ли было купить «градус» доктора в XVIII веке? Препринт, НИИ ВШЭ, Москва, Серия WP Исторические исследования, 2015
6. Кантор, Владимир. «Срубленное древо жизни»: Судьба Николая Чернышевского, Российские Пропилеи, М., 2016
7. Шпет, Густав. Очерки развития русской философии. II. Материалы. Реконструкция Татьяны Щединой, собрание сочинения Шпета том 6, Российские Пропилеи, М., 2009, 362-427.

Англо-язычные Исследования

8. Baggerman, Arianne and Rudolf Dekker, Child of the Enlightenment: Revolutionary Europe reflected in a boyhood diary, transl. by Dianne Webb (Brill: Leiden and Boston, 2014)
9. Controlling time and shaping the self: developments in autobiographical writing since the sixteenth century, ed. Arianne Baggerman, Rudolf Dekker, Michael Mascuch. (Brill: Leiden, 2011)
10. Baggerman, Arianne. "Lost Time. Temporal discipline and historical awareness in nineteenth-century Dutch egodouments," Controlling time and shaping the self, 455-541.
11. Burke, Peter. "Historicizing the Self, 1770-1830," Controlling time and shaping the self, 13-33
12. Jancke, Gabriele and Claudia Ulbrich. "From the Individual to the Person: Challenging Autobiography Theory," in Mapping the "I": Research on Self-Narratives in Germany and Switzerland, eds. Claudia Ulbrich, Kaspar von Greyerz, Lorenz Heiligensetzer (Brill: Leiden and Boston, 2015), 15-33.

13. Klioutchkine, Constantine. *Between Ideology and Desire: Rhetoric of the Self in the writings of N.G. Chernyshevsky and A.N. Dobroliubov*, *Slavic Review*, vol. 68, no. 2, 2009, 335-354.
14. Lejeune, Philippe. "Marc-Antoine Jullien: Controlling Time," *Controlling time and shaping the self*, 95-120
15. Lejeune, Philippe. "The Practice of the Private Journal: Chronicle of an Investigation (1986-1998)," *Philippe Lejeune, On Diary*, edited by Jeremy D. Popkin and Julie Rak, translated by Katherine Durnin, (The Biographical Research Centre, University of Hawaii Press: 2009).
16. MacAulay, Thomas. *On Heroes and Hero-worship*, (London, 1908).
17. Taylor, Charles. *Sources of the self: The Making of the Modern Identity*, (Cambridge University Press: Cambridge, 1989)
18. Taylor, Charles. "Philosophy and its history," *Philosophy in History: Essays on the historiography of philosophy*, *Ideas in Context*, vol. 1 (ed. Richard Rorty, J.B. Schneewind, Quentin Skinner) (Cambridge University Press: Cambridge, 1984), 17-30.
19. Weintraub K. "Autobiography and Historical Consciousness," *Critical Inquiry* (June 1975).